

Евгений Солонович

Когда разноголосый мир немеет

* * *

Когда не все вопросы решены,
чем на бессонницу искать управу,
сумей услышать голос тишины,
который ночью ниже на октаву.

Не перепутай только явь со сном,
слух напрягая, речь ни шла о чём бы.
Случись подобное, к примеру, днём,
ты по губам, возможно, всё прочел бы

и не гадал бы по обрывкам фраз,
что тишина тебе сказать имеет,
подкараулив безмятежный час,
когда разноголосый мир немеет.

* * *

То, что ждёт меня, то, что будет,
не успеешь уснуть, разбудит,
постучится тук-тук в окно,
намекнёт, что мне суждено,
что написано на роду, —
так и так, мол, имей в виду:

никакой ковровой дорожки,
если счастье — по чайной ложке,
правда, с верхом, не расплескай...

Я не прочь, согласен, пускай
хоть по чайной, хоть по чуть-чуть,
главное — не когда-нибудь,
а сегодня.
Отныне и впредь.

Солонович Евгений Михайлович — поэт, переводчик. Родился в 1933 году в Симферополе. Его переводы из Данте, Петрарки, Ариосто, Джузеппе Джоакино Белли, нобелевского лауреата Эудженио Монтале и других итальянских поэтов отмечены рядом литературных премий, в том числе Государственной премией Италии в области художественного перевода, премией «Венец» и др. Постоянный автор «ДН». Живет в Москве.

* * *

...а мы считали, дураки,
что фатум с нами в поддавки
играет, и в его удаче
не сомневались до поры,
пока не вышли из игры,
которая пошла иначе,
чем позволял нам первый ход
надеяться,
и общий счёт —
не в нашу, к сожаленью, пользу.
Типичный, так сказать, облом,
так нам и надо,
поделом,
и глупо становиться в позу
обиженных, надувши губы.

А почему,
а почему бы,
вместо того, чтоб с этим жить,
противнику не предложить
переигровку?

Неотправленные письма

Не веря в чудо, всё равно ответа
на письма неотправленные ждёшь,
и что глаза от бешеного ветра
слезятся — ложь, спасительная ложь.
Напишут и тебе —
и не отправят
и в свой черёд ответа будут ждать
и тот же ветер на тебя натравят,
чтобы возможность слёзы оправдать
была и у тебя.

Один из круга
порочного есть выход, лишь один:
валить вину взаимно друг на друга,
тем самым вышибая клином клин.
Но лучше неотправленными письма
не оставлять, тогда не будешь сам
ответа ждать,
всё от тебя зависит, —
изволь отправить, если написал.

Старые тетради

...До слёз Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.

Б.Пастернак

Он с памятью не первый день в разладе,
и если бы, наверно, не стихи
в потрёпанной, далёких лет тетради,
не вспоминал бы старые грехи.

Тетради старые порой жестоки,
грозя напомнить нам, что не жене
мы все, бывало, посвящали строки
любви, а женщине на стороне.

Но я о нём, и путать нас не надо,
не о моей тетради старой речь,
при том, что Данте в Песни пятой «Ада»
к ответу мог бы и меня привлечь.

И всё-таки, и всё-таки спасибо,
тетради старые, в который раз
и он, и я должны сказать вам, ибо
не представляем, как бы мы без вас.

* * *

К.С.

Погодой летней радовал сентябрь,
и в тень, под своды смешанного леса,
пьянящий воздух хвойного замеса
хоть на чуть-чуть, на полчаса хотя б
манил войти,
и мы с тобой вошли
и, если помнишь, не спешили выйти,
с деревьев висли солнечные нити,
и замирали голоса вдали.
Мы чувствовали,
что любому бы
хотелось быть тогда на нашем месте.
Мы были сами по себе — и вместе
по милости судьбы.

Григорий Рязжский

Пистоль

Рассказ

По большому счету, она его любила. Не то чтобы обожала, открыто предъявляя чувства подобно тому, как демонстрируют эмоции отдельные экзальтированные особы в отношении своих половин. Но и о притворстве речь не шла. Он был надежно ее человек — Лёвушка. Она выцепила его в ту пору, когда только начинала писать. Еще лишь баловалась этим нелегким делом, ища услады в первых буквенных опытах, находя и сочетая меж собой разные красивые и не очень слова, строя короткие рубленные предложения и возя ими, почти готовыми, по вордовской странице.

Пишущую машинку — неизменный атрибут культурного человека с улицы Герцена — Нюта успела удачно проскочить. Понимала, что коли пришлось бы стучать, ломая пальцы об idiotские кнопки, перемещая туда-сюда рычаг дурацкой каретки и постоянно заправляя бумагу с маркой копиркой, то хрен бы вообще присела к столу. Физически затратно и неинтеллигентно. К тому же напоминает труд машинистки с дешевым перманентом на голове и ногтями под чистый нуль. Одна такая в свое время трудилась у папы: тот диктовал роман, с листа, а эта дура щелкала своими толстыми сосисками, не выражая никакой встречной сердечности в смысле творческого процесса. Отец диктовал и недовольно пыхтел, время от времени оценивая машинисткину работу и пытаясь угадать ее реакцию на произносимый текст. Та, однако, ничего не замечала и лишь тупо щелкала по кнопкам, никак не реагируя на жизнь, боль и смерть папиных героев. Как-то он спросил ее, что она думает про второстепенного персонажа Суходрищева — из главы, где тому приснилась русалка. Так эта дура лишь мелко заморгала, после чего виновато опустила глаза в текст и начала перебирать готовые листы, выискивая главу про важный сон Суходрищева. Вообще ничего не смыслила, ни в литературе, ни в чем. Абсолютный голый нуль.

Папа всегда был писатель, сколько Нюта себя помнила. Иногда к папе приходили другие писатели. Хотя, может, они были и не писатели, но ей всегда хотелось, чтобы они тоже писали книжки, но папа писал бы лучше. Его знали все, но почему-то считалось, что читать папины книги необязательно. Нет нужды. Имя отца, сделанное однажды, когда его избрали в правление Союза писателей по письму рабочих завода «Станколит», работало и так. К тому же квартира на бывшей Герцена с красной

Григорий Рязжский родился в Москве в 1953 году. Окончил Московский горный институт. Печатался в журналах «Киносценарии», «Знамя», «Урал» и др., а также в русскоязычной зарубежной периодике. Автор 16 книг прозы. Переводился на европейские языки. Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Телеграфист» (2019, № 4).

мебелью при бронзовых уголках, выделенная Моссоветом, плюс тиражи под миллион — все это давало право жить, не думая о завтра. Про это любил пошутить и сам отец, возвращаясь из дома с колоннами, что так по-прежнему и стоит против окон жилья Цареградских. Особенно папа Нюты любил хвастнуть всякий раз после того, как расписывался в ведомости за очередную допечатку давно изданного романа.

— Пиши, доча, пиши... — наставлял свою пока еще неразумную дочь Иван Петрович Цареградский. — Пока живой и при месте, протолкнем. В смысле, издадим со временем. А там, глядишь, само потечет. — Но тут же исправлялся — «потечет».

Это был уже конец восьмидесятых — начало слома, большая перепашка и чертов, будь он проклят, рубикон, за которым все отчетливей уже проступали самые нештучные неприятности.

Так и вышло. Отца перестали издавать, в одночасье. Все стало так, словно в один дурацкий день весь этот проверенный годами люд, потреблявший отцовские произведения, разом вымер. Сгорел дотла, начисто, не оставив и горстки культурного пепла. Вроде был писатель Цареградский, и не стало его, вроде, как не было. Правда, оставалась квартира, дубовый обеденный стол в центре гостиной с лепными финтифлюшками по карнизам. Со стола по-прежнему свисала крахмальная скатерть с твердыми кружевными уголками. Все тем же истуканом в углу папиного кабинета пылился обрезанный по низ груди писатель Лев Толстой, приобретенный Цареградским в год смерти вождя Константина Устиновича. Однако, несмотря на ветры дурных перемен, в дом, как и прежде, являлись бывшие коллеги отца по перу: уже не такие гладкие и веселые, без прежней беспечности во взгляде и привычно победительных ноток в голосе. Теперь они больше пили, чем бахвалились, уединившись с отцом и бронзовым Львом Николаевичем в отдельном от остальных метров святилище. Иногда Иван Петрович, чувствительно приняв с товарищами, приоткрывал дверь кабинета и чуть раздраженно кричал в направлении супруги своей Карины Степановны насчет добавки к питейному угощению.

Именно в такие дни в доме окончательно поселялось уныние. К тому времени Нюта считалась в семье достаточно взрослым, хотя и не окончательно вызревшим ребенком. Во всяком случае, печалиться о судьбе дочери у матери уже не хватало сил. Дочь изначально была самостоятельной и определенно волевой, и по этой причине Карину Степановну мало волновало литературное будущее, неизвестно с какой целью назначенное ее дочери щедрым Иваном Петровичем. Надо было спасти самого мужа, дочкиного отца. Не слишком удачливая по части здоровья, Карина Цареградская элементарно пыталась выжить. Оказалось, что весь тщательно выстроенный ею мир, как плод многолетних унижений перед сильными, властными и бессовестными, ничего, по существу, не стоит. Годы... ее лучшие годы, совпавшие с эрой одобрительного поддакивания в эпоху принудительного компромисса, с фальшью искусственных улыбок на цэковском отдыхе и ноющей болью в зубах под дорогушим протезом, с бессрочным страхом в сердце, что рано или поздно все заканчивается, но и с чувством гордости за право считаться своей в распределителе на Грановского... — все, буквально все важное прежде и ценное отныне пришло в упадок, остановилось, все то хорошее и терпимое, что давало силы жить и грезить. Жизненный успех, неожиданно отступив, сложился с дутой славой супруга, образовав новую для семьи отвратительную реальность. От этого хотелось удавиться. Впрочем, похожее чувство посещало Цареградскую и всякий раз после очередного награждения ее бесталанного Ивана за его нелепый писательский труд.

Теперь Иван Петрович пил, как не пил раньше. Нютка бесилась, понимая, что назначенная ей отцом будущность исчезает из рук, словно лужа, испаряемая черт знает каким самаркандом. Кроме того, деньги остановились и больше не возобновлялись совсем. Тираж последней отцовской книжки ушел под нож, о чем семье сообщили из издательства, забыв извиниться. Плачевная пенсия не спасала, но и с нажитым

имуществом расставаться было жаль. Одно время, когда не слишком пил, отец Нюты даже стал подумывать о самоубийстве, и этим соображением охотно делился с родными. «Понимаешь, доча... — говорил он, обращаясь к Нюте и прижимая ее голову к своей облезшей, как у больного попугая, груди. — Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавице платье задрал, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. Но только раздвинутый мир должен где-то сужаться, хотим мы этого или не хотим. А тут... — он тяжело вздохнул и в унынии переводил взгляд на опорожненный стакан. — Тут конец перспективы...»

В минуты такого неподдельно поэтического отчаяния родителя Нюта придумывала себе, что какой-никакой талант у ее папы все же имеется. Зря мама на него наговаривает, злится и негодуя. Ведь как ловко и про нрав ввернул, и про красавицу без платья. Про поэтического лауреата Бродского она, конечно же, слыхала, но не до такой степени, чтобы натурально читать и помнить про всякое такое. Стихи, пускай даже нобелевские, никогда не были прицелом для главной мечты и потому не особо задевали ее творческую натуру. Мишень уже тогда была другой: Анна Цареградская начинала понимать, что, правильно стянув меж собой буквы для чтения на интерес, она добьется в жизни всего. В том году, сам того не желая, убедиться в этом помог полупьяный отец. Вытянул из дебрей стола толстенную папку на тесемках, порывшись в ней как следует, и обнаружила повесть, ни разу не пристроенная. Потому что, сказал, говно это, доча. Проба молодого пера изначально старым говнюком. Хотел писать про убийство на заре, а вышла любовь без ветрил. Слюни, короче. Мокрые говняные слюни, недостойные даже бездарного нехристя. То есть меня. Сказал и налил, полную. И выпил не закусывая. И тут же заснул, не завязав тесемок. А Нюта папочку взяла и почитала, не побрезговала. И поразила ласковости языка и причудливости образов, какими беспутный ее батя одарил главных героев неизданной рукописи. И по всему тогда выходило, что судьба повести, замужней самой же автором, сложилась до крайности несправедливо. Смотрите сами: яблони в подмосковном цветут, что снились героине, на деле обернулись пальмами, омытыми тропическим дождем, ровно как и мечталось. Благородный Ахмет, что забыл перчатку и не стал ее искать, по этой причине сделался дипломатом и через годы оказался в стране, где как раз росли те самые пальмы. И встретил свою любовь, хоть и не мусульманку. Только для этого ему пришлось сначала убить из кремнёвого кавалерийского пистоля своего соперника — врача Карлова, которого к моменту убийства стало уже не жаль, потому что он предал родину и на этом страшно разбогател. Ну и так далее...

Боже, отовсюду из отцовской повести ароматилась теплой французской булкой и пахучим кофе с далеких бразильянских плантаций, призывно пахло загадочным Сомерсетом Моэмом, мягко несло писателем Грэмом Грином, и в отдельные моменты наружу пробивался даже сам месье Жорж Санд. Это уже не говоря о пряном духе капитана Блада, которым дочь писателя Цареградского зачитывалась с детства. И, о божечки, это всегда было нечто — невозможная для ума смесь походов красавцев на знойном воздухе, на раскаленных, как мамина сковородка, песках, а порой и среди ледяных арктических торосов или в таинственных глубинах трюмов, пересекающих океанские просторы с тайнами и трупами на борту пароходов.

От самого папы пахло по-другому. Его буквы, слова и смыслы, крученые, как морские канаты, предложения, — все было не так, как в повести под тесемками. Не было той цельности, исчезла простота, размылась ясность образов. Совсем заврался, все чаще думала Нюта, раздумывая об отцовских книгах. Но, с другой стороны, как иначе-то?

Потливый и одышливый, объемный в поясе и вечно какой-то недомытый, Нютин отец источал благоухание, напоминавшее ей запах железнодорожной станции Перedelкино, вблизи которой семья владела писательской дачей. Бывало, что добирались

туда без машины, и тогда девчоночьи ноздри улавливали восхитительную смесь запахов смоленых шпал с привкусом каленого металла и преющей от июльского зноя толпы, что выкатывалась на платформу вместе с цареградским семейством. От необъятного размера папиных романов тоже нередко разило углем, рудой, сеном, машинным маслом и автомобильными покрышками. А еще тянуло глупостью и бахвальством. Иногда просачивался слабый дух победы доброго над злым, но быстро сходил на нет. И неизменно наличествовал идиотский финал — так считала Нюта, когда слегка повзрослела. К окончанию десятилетки, после читки пары-другой страниц из взятой наугад отцовской книжки ей хотелось резко отдернуть фрамугу и проветрить спальню. От этого становилось легче, однако прерывать чтение ради легкомысленных дел папа не разрешал: любил, чтоб дочь напивалась книжными смыслами не хуже кухонной губки, собирающей нечистую влагу вместе с остатками еды и крошками со стола.

Вместе с тем отец оставался для нее все тем же любящим родителем: пускай слегка и безголовым, но зато родным и надежным. Оттого, верно, и держала она Ивана Петровича не только за старого таракана, чего тот истинно заслуживал, но еще и за близкого человека, несчастливо обреченного на вымирание раньше отведенного судьбой срока. Виной тому была ужасающая действительность, случившаяся за окном. И все же, несмотря на резкую смену эпох, на денежные шторма и прочие социальные бури, Анна Цареградская ни веры в себя не утратила, ни рук не опустила.

В отличие от матери ее Карины Степановны, так и не научившейся выживать в новых обстоятельствах, Нюта быстрее прочих сообразила, как и чем себя занять. Начала с малого. Решила перелицевать отцовскую повесть. И посмотреть, как пойдет. Теперь это было просто, чисто в техническом отношении. Первые компьютеры, негаданно свалившиеся на головы пишущих и не пишущих, теперь позволяли гулять словами как и куда угодно, в любом направлении мысли. Не нужно подтирок, не надо копирки, не надобно и дур этих, машинисток. Двигай, стирай, запоминай писаное в любом порядке и размере. Нюта сразу это усекла. Оставалась смешная ерунда — придумать так, чтобы чертов читатель едва успевал слюнявить пальцы, вертя страницы и мечтая поскорей добраться до финала. Финал — наше все, это известно. Финал у Нюты станет тем, ради чего доверчивый покупатель возжелает одолеть путь мечтательных картинок от «зловонных пеленок и до смердящего савана». Эту звучную фразу от большого нерусского сочинителя любил повторять Иван Петрович. Произносил по слогам, потом упирал глаза в лепной карниз с гипсовыми финтифлюшками и шумно выдыхал. Понимаешь, доча, говорил он Нюте, есть гении, а есть мы с тобой. И что б вот так, к примеру, сказать про такое — про пеленки эти с вонью и про чертов этот саван, нужно съесть пуд золота, не меньше. Или же изначально с ним родиться, прям в утробе. А мы с тобой говно жрать будем, потому что тоже родились с ним. Такая жизнь. И такая кровь. Такая, сука, страна.

Обычно нетрезвые излияния никчемного родителя Нюта пропускала мимо ушей. Но только всякий раз, когда тот, залив выше ватерлинии, вспоминал из любимого Пенна Уоррена, дыхание ее тормозилось и что-то маленькое и слабое начинало мелко тюкать и раскачиваться в глубине ребер. Она не знала, что. Не умела объяснить себе, не понимала, как и отчего возникает эта дробь, когда слова, самые обычные слова, сложенные из простых строчных букв, внезапно обретают острую и пронзительную силу. И вот тогда — колет, в такие именно моменты.

То, что она сильная, Нюта знала всегда. В щенячьем возрасте с недетской легкостью могла раздавить комара и громко смеяться, тыча пальцем в красное пятнышко на дачных обоях. Часто сердилась на соседскую кошку — ту самую, бесприютную, которую кормили и гладили все, кому не лень. Кошку Нюта не любила и назло старшим называла котом. Считала кота плохим, потому что тот был добрым. Значит, врет нам, людям. И ей в том числе. Дикie кошки должны быть злыми и коварными, объясняла всем Нюта; при этом смешно улыбалась, играя в хорошее и

плохое. Сама себе игру придумала. В этой игре представляла себе кошку-кота пушистым теплым трупом, и это ничуть ее не пугало, скорее даже забавило. Мать отводила глаза, а отец — нет, отец бодро ржал, ценя чужаковатость дочкиного воображения. Нюта и потом, уже учась в школе, была уверена, что навсегда останется смешливой и недоброй. Это не мешало. Это сопровождало ее и в поисках смысла жизни. Оказалось, напрасно. Еще через какое-то время выяснилось, что само по себе зло непродуктивно, если только не ставить на него для спасения от беды. Тогда можно, тогда пускай.

А еще она два раза в жизни плакала, когда читала. В первый раз — книжку писателя Моэма, которого ей посоветовала мать вместо дурных отцовских томов. Там у него все было до жути просто, но зато страшно справедливо. С приключением на далеком острове. Ему, послу, возили газеты, несвежие, чтоб он их читал. Сразу за месяц, с родины. Он и читал, по одной в день, растягивая удовольствие от постижения картины мира, опаздывающего на месяц. А потом приехал другой, в помощь этому, и тоже стал читать газеты, но все сразу и раньше посла. Посол разозлился и убил его. Чтобы знал свое место. Такой вот рассказ, небольшой. Нюта прочитала и обалдела от того, насколько он прав, этот нервный посол. Несмотря что убил за пустяк, за неважное. Она его поняла, абсолютно. После чего подумала еще раз, всмотрелась как надо и увидела всю картинку целиком, от и до. И внутренне оправдала его, чисто для себя. И заплакала от такого дикого совпадения характерами, своего и послова. Думала, так не бывает. Тогда впервые и сработало в ней это писательское, еще до идеи отца, чтобы сочинять и издавать книжки. Уже сама все знала, потому что судьбой не бросаются, судьба не кошка и не вчерашняя газета на отшибе жизни.

Другой раз ревела, когда обидели Остапа. Он ведь столько доброго сделал, хоть в основном и для себя, но и для этих идиотов тоже, у которых по любому все бы пошло прахом. Его взяли на границе и отобрали все, что удалось выхитрить с помощью необыкновенного ума. Нюте было двенадцать, но рыдала по-детски, на пять с небольшим. Это было так страшно и так несправедливо, несмотря на все смешное в этой книжке, что казалось, вот-вот остановится дыхание и она умрет молодой. Она — Анна Цареградская, дочь писателя и сама уже почти что писатель.

Жизнь семьи слегка наладилась и пришла в условное соответствие с наступившими временами лишь после того, как умерла Карина Степановна. Со стороны это могло показаться странным, но именно так все и было. Отец, к тому времени окончательно опустившийся и едва ли помнимый литературной общественностью, почти не выходил из дома. Пил, хотя и не так, как раньше: не было прежних сил. Друзья расплозились кто куда, заняв места изначально дохлые и мало кому известные. Порой кто-нибудь из старых и проверенных, хотя и потускневших, притаскивал нечто типа чачи, присланной грузинскими сотоварищами по бывшему советскому перу. Кто-то, хотя и нечасто, баловал самогоном новейшей выделки, став по случаю владельцем медного аппарата с хитрыми трубками. Вдобавок ко всему любимая некогда Герцена, где, считай, прошла жизнь, стала обратно Большой Никитской, и катили по ней совсем уже другие автомобили, без механических коробок, ржавых потеков на крыльях и гордых оленей на капоте.

Последнее из отложенного закончилось одновременно с рухнувшей надеждой на возвращение прежнего порядка. И это означало, что насекомую жизнь можно было длить и дальше, поскольку ничего уже не будет. Так чего ж умирать, коли определились?

Именно так думал в те дни Иван Петрович. Размышлял он и о том, что Каринка этого не поняла и не приняла, и потому кончилась до срока. Болезнь, что сожрала жену, вся эта затянувшаяся фисгармония с мерехлюндией, стала для нее лишь поводом сбежать в иные, стерильные миры. Поэтому смерть жены и была им воспринята почти безболезненно и даже — страшно сказать — с некоторым

облегчением. Просто в один из дней жизнь семьи Ивана Цареградского уменьшилась на одну проживавшую на той же площади живую единицу в лице молчаливого домашнего судьи — последнего прямого свидетеля его писательского убожества, пожизненного носителя бессрочного укора.

Вообще, Иван Петрович всегда знал, что творилось в доме: с тех самых пор, как жизнь семьи, задавшись однажды, так и продолжила служить винтиком чужеродной машины по извлечению благ из ничего. Он хорошо понимал то самое, о чем было не принято говорить дома. О нем же самом, о Цареградском. О так и не случившемся таланте, о дутой славе мужа и отца, застывшего пограничным столбом между бездарностью и вздорным характером. Правда, еще оставалась Нюта, дочь. Порой он размышлял о том, что кабы не она, то ранняя смерть супруги, как и собственное никчемное существование, вряд ли отозвались бы в нем так безболезненно и недружелюбно: без этих слез, соплей и присущей истинному горю трагедийности.

Ей уже за двадцать пять было, Нюте. И как ему казалось, дочь вполне недурно ощущала себя в пространстве гадских изменений. Между делом окончила какой-то мелкий институт, чтобы не отвлекаться от главных дел. Потом какое-то время шустрила в одной конторе из новоявленных. То есть в никакой. Зато прокатилась по европам, проверив, где и чего дают в смысле правильного будущего. Только оказалось, что на родине наливают и накладывают, как нигде. О том и поведала отцу, хотелось свериться в ощущениях. И опять же, странное дело, — решению единственной дочери остаться жить в стране, где дважды-два по-прежнему было полтора нуля, не удивился. При том, что дети знакомых и родных уже всюду разлетались по миру, сверкая подметками и вдыхая ароматы тамошних ветров. Кто-то — успешно, кто-то — в ожидании близкой удачи, кто-то — от ненависти и безнадёги.

Нюта же — нет, не купилась. Хотя он точно знал про дочь — власть не любит, любую, и всегда будет ее презирать, такая уж уродилась. Зато язык — жалуется. Русский — как никакой другой: постоянно чего-то строчит да выкручивает. Кстати, отца родного из собственного кабинета выжила: сказала, не хрена тебе, папа, творческие метры занимать, мне они теперь нужней. И он Нюте верил, потому и выкатился из святыни, забитой красным деревом, начинавшимся от филенчатой двери кабинета, застекленной мутной рифленкой, и оканчивающимся у самого подоконника, заваленного писательским говном. Нюта пишет, но отцу читать не дает, копит на инфаркт. Иван Петрович не обижался, понимая, отчего это так. Не доверяет, зараза, думал он про дочку. Впрочем, думал без малого зла, прикидывая, что его умная и в меру злая дочура просто не желает сбить себе фокус, поддавшись идиотскому совету родителя. И то правда — дело сделал, путь подсказал, на этом все, папа, адье! Плюс повесть под тесемками — бонус на первый старт.

Тогда же, к началу первой дочкиной зрелости, в жизни у нее появился Лёвка. К финалу проклятого века семейных неудач. Лёвка, хоть и был еврей, но зато оружейник, и это подкупало. Вспомнилась повесть, где Ахмет, стреляя в Карлова, не оставлял следствию шанса. В смысле отсутствия следов по линии баллистики. Картечь, господа, выпущенная из древнего ствола — какой, к черту, след? Старинное оружие — наилучший способ уйти от ответственности, спрятать концы в бушующий океан, вплавить в ледяные торосы, вкопать в раскаленные пески забытых богом и людьми самаркандов. Или же съесть на завтрак с чашкой бразильянского кофе. А как оружейник... не то чтобы Лёвушка ружья делал или, к примеру, собирал на фабрике гранаты и сверял прицелы, вовсе нет. Просто был мастер на все руки, правда, в основном по части добывания старинного оружия и приведения его в порядок, в товарный вид. А вообще — коллекционер. Знаток и собиратель. Ну и по торговой части не промах, в рамках конкретного интереса. Этим и купил ее, Нюту. Впрочем, она и сама купилась на его дела.

В тот вечер они сидели у общих знакомых, и Нюта осторожно намекнула, что

планирует завершить роман к осени. Только никто не поинтересовался, о чем роман и каков по счету. Выпивали дальше, курили траву, трепались о власти, тряпках и деньгах, и было не до случайной гостии с ее малоинтересным лицом, немодным прикидом и, судя по заметной отстраненке, болезненным самолюбием. Да и то сказать, в компании оказалась случайно, попав в чуждый ей круг интересов через чью-то одноразовую прихоть. Однако один курчавенький заинтересовался и подсел. Представился:

— Лев Запольский. Можно Лёва. Или Лёвушка, если подружиться. — И улыбнулся похоже на то, как разъезжаются половинки разводного моста — медленно и до упора. Лева был не москвичом и не особо разбирался в тонкостях местной натуры.

У них пошло сразу, день в день. Точнее — в ту же ночь, когда он провожал ее до бывшей Герцена, а по пути жутко увлекательно объяснял устройство кремниевого пистоля, которым мечтал разжиться с тех пор, как занялся оружейным собирательством и стал на нем наживаться.

— Какого черта ты оказался среди этих снобов? — не могла не спросить ущемленная приемом Ньюта.

Он отмахнулся. Коротко дал понять:

— Просто зарабатываю. Там все — дети каких-то больших чертей. Один хочет мушкет, как у д'Артаньяна. Другой — комплект доспехов, но только ранний, не поздней шестнашки. Плюс вся экипировка. И какого, спрашивается, черта? Сами-то ни ухом, ни рылом, а туда же... в древность... чтоб красиво на фоне зеленых фотообоев.

— Платят хоть? — больше из вежливости, чем от любопытства, поинтересовалась Ньюта. — Или так... для самоутверждения и желательно задаром? — Лишь потом, когда они уже более-менее сблизилась, задним умом она-таки сообразила, что в тот день проверяла Лёвушку на мужскую состоятельность.

— Платят, сволочи, — попробовал отшутиться тот, — но обидно до невозможности. Тут пашешь, понимаешь, как ломовой извозчик, света бледного не видишь, вечно в бегах — там не упустить, тут не продешеви, того убеди, этого расшевели, к тому же и впарь нешутейно. А выручку в новые дела изволь, не то снимешься с пробега. В нашем деле все ох как непросто, Нюточка. Но главное, чутье: вещь или говно. — Сказал и сконфузился. — Прости, забылся. — И снова улыбнулся хорошо, мягко. И в улыбке этой не было ни пошлости, ни вранья, иначе бы просекла. Между тем, Лёва продолжал плавное окучивание девушки с Большой Никитской. — Вот и говорю, Нют, ты только посмотри, это же одна сплошная прелесть, а никакой вообще не бизнес. Даже не представляешь себе, сколько тут есть всего охрененного! — внезапно выкрикнул Лев и с энтузиазмом стал загибать пальцы. — Смотри сама: шпаги, сабли, шашки, палаши, рапиры, копья, щиты, луки, арбалеты, мушкеты, ружья, пистолеты с кремневым замком, пистолы разные, включая корабельные... Сталь, латунь, ковка, литье, травление, золочение, синение, гравировка — слова-то какие, слова, только вслушайся! Рукояти, инкрустированные камнями. А что за орнаменты случаются, просто чудо какое-то. И все — руками, руками сработано, а не чем там еще. А точность, точность какая! И на глаз же все, исключительно на глаз, заметь. А ножи, штыки, кортики, кинжалы? Клинок стальной прямой взял вчера у одного купца, так там линзовидное сечение, да еще с растительным орнаментом на 2/5 от пяты с обеих сторон, плюс изображение перекрещенных флагов. Западная Европа, вторая половина девятнадцатого, а? И это же снова прелесть что такое, а не ножи и кинжалы — от бронзового века до Ренессанса, это не резать чтоб, а просто взять и убиться от наслаждения. А закалка? Где так сейчас закалывают, кто?

Он выдохнул и притормозил. Они уже подходили к ее красивому дому.

— Твой? — спросил Запольский, кинув на него оценивающий взгляд.

— Наш, — согласилась она. — Мой и папин.

— Тогда что, прощаемся? — спросил и глянул на Ньюту.

— Пойдем... — она подошла, взяла его под руку, — черт с тобой. Ты мне тут такого понарасказывал, что не пригласить в дом будет непорядочно.

— А папа? — для порядка уточнил Запольский.

— И папа, — мотнула головой Нюта. — И я, и папа, и все такое... И без проблем.

— Ладно, — согласился Лёва, — раз так, то я с вами.

— Я знаю, — ответила она и повела его к подъезду.

Отец, ясное дело, спал. Она даже пожалела, что Иван Петрович сразу не посмотрит ее Лёву. Разве что утром.

С утра отец, проморгавшись, Лёву посмотрел, затем недолго подумал и вынес вердикт. Уже после того, как они вместе позавтракали кашей и претендент покинул писательское гнездо.

— Бери. Нормальный.

Она и взяла.

То был сентябрь, любимейший месяц. В этот раз он тянулся и тянулся нескончаемо, словно намеревался придать случайно выпавшей бесконечности облик вязкой паучьей нити. Лето остановилось окончательно, но до начала сырых холодов было еще далеко. Обычно сразу после сентября в жизни Нюты Цареградской наступали пакостные перемены — что в смысле погоды, что по жизни вообще. Кончалась теплая часть года, и весь он целиком, словно умирающий кит, медленно и плавно погружался в бездонное прошлое. Но только в ее жизни в очередной раз ничего не двигалось и особо не менялось. Нормальный мужик по-прежнему не заводился, буквы, какие были нужны, тоже не находились, а если и отыскивались, то не склеивались во что-нибудь стоящее. Так и сяк она их, в общем, двигала, колдуя с переменным успехом, собирая готовые фразы в цельные, как ей казалось, сюжеты; однако наступал срок считывать продукт не по частям, и на выходе обнаруживался один только пшик. Пустота. Чертов целлулоид. Или же она не умела оценить написанное.

Отец в дочкино дело не лез. Вел себя покорно и понуро, как виноватая лошадь, засбоившая однажды и так и не ставшая на рысь. Думал, раз занимается, забрав у него кабинет, дело того стоит. Верил в Нюткину настырность, про талант не думал вовсе. Полагал, что присутствует, и точка. Сожалел разве что о данном когда-то обещании способствовать продвижению сочинений в печать. Только кто же знал, как оно обернется, мать их в дышло.

Отцову повесть она вытянула из стола, когда терпению пришел конец. И перечитала. Другими на этот раз глазами. И поняла вдруг, что не сможет сочинить даже малость похожее на отцову рукопись. Теперь ей казалось, что отец не такой уж бездарный словоплет, за которого тайно от всех держала его покойная мама. На деле все оказалось иначе. Стройный сюжет, увлекательный ход истории. И главное — дрожь на выходе. Ахмета она люто ненавидела, Карлов же, терпила, уже вызывал сострадание, самое искреннее. Да и со словами, в общем, был порядок. Их складная россыпь, ловко найденная и вполне мастеровито размещенная по ходу повествования, ничего кроме уважения теперь не вызвала. Отец, ее смешной дурковатый папка, считавшийся умными людьми бледной функцией графоманского письма, внезапно обрел лицо. Для этого нужно было всего лишь погрузить башку в предмет, сняв пробу с самой себя, и признать родителя писателем.

И все же она к нему не пошла: вместо этого просто поменяла точку отсчета. Сама, без помощи со стороны. Вот тут он и подвернулся, Лёвушка. Критическим момент назвать было нельзя. Просто многое из ранее пройденного куда-то делось само, отвалилось что ли, как и не было. Зато из нового, недавно постигнутого, ровно столько же подоспело, одновременно с Запольским. Плюс этот пистоль, будь он неладен, как ничто больше. Вот откуда это странное совпадение? Отец взял и сочинил,

неведомо как отыскав в голове этот странный реквизит для неизданной повести. Отчего, скажем, не классический дуэльный пистолет? Нет — кремнёвый, навороченный, сверхисторический. И Лёвушка, ее верный Лев, почти что муж, — мечтает о том же, как ни о чем другом. Чтобы реально обрести, в натуре, в материале. И кажется, не для перепродажи.

Они расписались через месяц совместной жизни на Большой Никитской. Брак их отец одобрил и поздравил обоих от души, хотя тайно и сожалел, что доброго собутыльника в лице этого еврейского Льва он уж точно не обретет. Понятное дело — не той закалки кудрявый вьюнош, как и не тех страданий, и не той крови. Но, спасибо ему, деньги в дом тащит, к тому же немалые.

Лёва и правда отлично зарабатывал на всем, что касалось антикового оружия, икон, а заодно и прочих предметов старинного быта. А еще они с Нютой ладили, с первого общего дня.

Литературой муж не интересовался. Как-то не сложилось. Помимо поиска верного пристанища в оружейной столице, Лев Запольский угорал от других, намного более важных дел, нежели писатели и их книжки. Деловая горячка началась еще в Барнауле, откуда он родом. Отгнездив сына от родной местности, Лёвина мама, еврейская училка русского и литературы, всучила на дорогу книжку американского нобелевского сочинителя. «Вся королевская рать», — так называлась. Умоляла сунуть нос для общего развития, во избежание окончательной потери культурного облика. Лёвка пообещал, но нос не сунул. Некогда было: с первого же дня на московской земле начал энергично крутиться по сбыту и обретению. В свободную минуту предпочитал лишний раз поизучать оружейный рынок посредством исторических каталогов строго определенной направленности. На этом его литература начиналась и здесь же заканчивалась. Мастер он был в другом, и Нюта это отлично понимала. Наверно, потому и не привлекала к чтке первых проб своих переделок. Да он и сам не просил, деликатно обходя тему тяжких пыток бесчисленных словообразований, сюжетов высокой прочности и готовых несущих конструкций по той же все буквоедской части.

Через год мучений все случилось. Незадолго до этого, отчаявшись родить нечто значимое даже с учетом новых знаний о предмете, Анна Запольская-Цареградская решила на план «Б». Отцу не говорить не стала. Сложится — поймет. И простит. Не выстрелит — сам же виноват, родитель-неудачник.

Повесть отцову, пока набирала заново, успела в очередной раз переосмыслить. И убедилась: все главное и несущее там сходилось и расходилось вполне нормально и, как правило, в точно найденных местах. Но поняла Нюта еще одну вещь, страшно важную. В отцовской драме катастрофически не хватало слезоотделения. Если угодно — слезовыжималки. Забыли поставить. С развитием основного сюжета, с тщательностью проработки характеров, с нагнетанием тревоги по всем мыслимым и невозможным точкам... все это, казалось ей, вполне соответствовало прямой авторской задаче. Но вот тупо и бездумно плакать — так, чтобы в три ручья и с соплями — с этим возникала проблема, какую, к удивлению своему, она раньше не засекала. Вопрос был в том, что никого теперь не было жалко. К примеру, Карлов, который доктор, после смерти не взывал больше к справедливости, даже если бы и был лишь однозначно положительным героем. А все потому, что недодано страданий, отцом. Не прописал как надо, не справился — с болью для самого автора, с ручьем для собственных желез. Кстати, и Ахмет этот чересчур уж малахольным оказался: как папа ни старался, не заслужил тот в читательском сердце нужной ненависти за все грязные дела, которыми сам же и бахвалился. Дипломат, мать его. Да все там хороши, если всмотреться. Зато как теперь надо делать, стало понятно. Просто нужно досыпать напалму, на всех, ближе к финалу, но и умеренно, чтобы знали, как оно бывает в принципе. И чтобы в это время кровь — горлом, горлом... пополам с сукровицей и всей прочей нелицеприятной грязью бытия.

В общем, предстояли серьезные правки. Из всего отмеченного ею в качестве единственно прочной драматургической константы, оставался, по большому счету, лишь кремниевый пистоль. Этот красавец от кавалерии — он же мечта заикливого на такой штуковине мужа, — как орудие убийства, как единственно безупречно фабульный образ, вполне укладывался в канву обновленной истории под тесемками. Теперь не отцовской — общей. Или даже не общей — чисто Нютиной. Полноценной рабочей версией первого романа писательницы Анны Запольской-Цареградской, что будет сочинено ею на основе одной вялой по языку и невеликой по замыслу повестушки.

Совсем уже по-серьезному она приступила к переделке текста на новый лад лишь после Нового года. До этого не то чтоб боялась начать — скорее, просто оттягивала момент реального вступления в писательский статус. Статус нес волю, поскольку свободу по умолчанию Нюта заслужила и так — долгим мучительным подступом к одной из восхитительнейших профессий на земле.

С утра засела в кабинете, вертанув за собой запор. Разложила перед глазами рукописный вариант отца, стала сортировать по недостаткам. Отец как литератор старой школы так и не научился писать с одной стороны листа. Экономил, хренача на обеих. Сказалось нищее детство, отбытое родителем на окраине Алапаевска. Он, как напивался, так всякий раз напоминал, откуда все началось, с какой местности они родом, если не считать Нютину мать, коренную уроженку столицы, затесавшуюся в семью в силу удивительной небесной ошибки. Карина Степановна и правда по воле случая родилась не абы где, а в самом Грауэрмане. Хотя и числилась на Черемушках. И этого Иван Петрович не сумел ей простить.

Любил, ох любил нетрезвый папа выкрикнуть лишний раз в квартирный воздух, что когда-то ему приходилось писать и на изношенных газетах: бывало, начинал между строк, а заканчивал на полях справа. А то и слева, если что. Так они жили, так учились, и так выучились. А вы не цените, неблагодарные. Правда, последнее добавлял лишь когда поперли уже совсем, из той жизни в эту.

К концу второй недели непрерывной работы с рукописью непонятно с чего все вдруг стало складываться в нечто логичное и вроде как даже стройное. Нюта сама такого не ожидала. До этого момента постоянно испытывала беспокойство, тыркалась так и эдак, пытаясь максимально изменить отцовский стиль. Отфильтровать, что ли. Тронуть сам язык — в смысле найденных автором слов и перелопачивания их в поисках смыслов. Но так, чтоб вышло наотмашь.

Однако ничего не получалось, как ни вертела: у родителя слова звучали правильней, убедительней что ли, звонче. Смыслы были прозрачней — без накипи и мудрежа. Но с этим хотя бы можно было смириться. Тем более что по истечении месяца с начала писательской жизни она снова поняла, что отец ее вполне приличный писатель. Это же Нюта отмечала и раньше, но вскоре отмечать перестала. Поначалу это второе по счету профессиональное открытие слегка огорчало. Получалось, что теперь персональное Нютино авторское место, как и заслуга в обновленном произведении, сводилась лишь к тому, чтоб докинуть немного увлекательной дряни, нарастив конфликт героев, но при этом сохранить стилизованный арсенал отца. Практически целиком. Собственные слова отчего-то не ложились ровно и с чувством, как она себе их напридумала, садясь за письмо. Мысли, какие она пыталась вкладывать в уста персонажей, тоже отчего-то размывались и ближе к концу фразы растворялись без остатка. И главное — эффект от мощного усиления характеров, которые она так тщательно продумала и ловко применила почти к каждому отцовскому недогерою, явно не срабатывал. Теперь уже ей самой, несмотря на авторство, не ревелось и не смеялось. Не щемило в нужных местах, не пульсировало жилкой на виске, не тревожило сердце ожиданием взрыва в сосуде. Как и много чего еще «не».

И все же в марте, ближе к женскому дню, она закончила. И сразу поняла — удалось. Господи, мое, все сложилось! Все некогда задуманное наконец-то обрело на

страницах романа естественную суть событий и натуральную правду вещей. Все заиграло, буквально все и без остатка. Гады получили свое, уроды казнены, настоящие герои оказались в выигрыше и потому вернулись к прежней красивой жизни, которой хотелось завидовать всякому. Чертовы сомнения, что одолевали в ходе всех месяцев труда над романом, отступили. Стало легко в голове и вольно в легких.

Она подождала еще чуть-чуть и перечитала писаное в один стремительный заход. Представила, что сама читатель, случайно обретший книжку и решивший проверить содержимое.

Именно с этого момента и понеслось, уже неотрывно. Карлов, который доктор, в новой версии был не просто разбогатевший предатель, хоть и неживой, а истинно христианский страдалец за дело, которому истово служил. Благородный Ахмет, ходивший у отца в убийцах, хоть и был дипломат, на деле оказался вором и христопродавцем. Заодно предавший и ислам, как цельную веру и неотвратимое ученье для мусульманского дипломата на доверии. Помимо этого, Ахмет играл на скачках, между делом травя лошадей соперников по ставке. Именно так теперь читалось произведение, начиная с первых букв и заканчивая острейшим финалом безмерно напряженного сюжета. А о драматургической плотности повествования речи вообще нет — чистое наслаждение мастерством. Для тех, кто понимает, конечно.

Вся следующая неделя ушла на новую вдумчивую читку. Плюс распечатка. И выбор издательства, куда следовало направить рукопись. Прикинув, Нюта отправила заказные конверты во все пять печатных ведомств, что имелись на слуху. И села ждать. Из кабинета по-прежнему не выходила: обдумывала план действий после того, как мир, узнав о новом женском гении, рухнет под тяжестью его произведения. Капитан Блад, все прочие мозмы, санды и гринны надежно удвинулись в небытие, уступив дорогу Нюте великолепной. Ни отец, ни Лёвка ни хрена об этом пока не знали. Первый по-прежнему попивал, целиком встав на Лёвино довольствие. Отчасти это было и справедливо: еврейский пацан из бывших нищелюбодов, прибывший неизвестно откуда и сноровисто взобравшийся на дочь классика, получает обставленную красным деревом прописку в центре писательской жизни. При этом живет и ни в какой ус не дует. Разве что кормит. И поит. И кажется, потихоньку откладывает на ребенка, которого просит у Нютки с первого их совместного дня. Так что все справедливо, хоть и с перекосом не в его пользу.

Собственно, о ребенке Иван Петрович ближе к ужину и зашел поговорить с зятем, памятуя, что дочка пребывает в угаре сочинительства и ее лучше не трогать. Хотелось обсудить тему без спешки. Вопрос один: будет пацан — зовем Иваном, в честь деда. Станет девкой — тогда в Карину, покойную страдалицу-бабку. Барнаульская родня не в счет — там все нерусские и счастья ихним именам по любому не будет, какое ни возьми. Ну и прочее всякое. Да и просто была охота посидеть с не занятой делами родней, потерять про никакое, потому как хлебнул уже до обеда и тем самым создал настрой раньше срока еды.

Лёвки не оказалось, но кое-что в отсутствие зятя на глаза все ж попало. Увидел ее у них в спальне. Любимую книжку, из небожителейских и практически богоносных, хоть и нерусскую. Роберт Пенн Уоррен, тот самый, аки новенький, пылился в забытии снизу этажерочной полки — ясное дело, никем не читаный. Что ж, подошел Иван Петрович, взял в руки, откинул обложечный картон. Почитал слова, что имелись на белой части и с левым наклоном: «Лёвушка, прошу тебя, не забывай, что кроме пистолетов и рапир в мире очень много интересного. Прочтешь, напиши, что думаешь, ладно? Любящая тебя мама».

Цареградский вернул книгу на место и подумал, что все же Лёвка этот — тварь неблагодарная. И что мать его, хоть не писатель, как сам, а видит куда дальше малообразованного сына, не удосужившего сунуть пухлый нос в литературу высочайшей пробы. Ту, которую на земле, считай, вообще не пишут — это он точно знал. А еще

подумал, ладно, Нютка уже почти готовый писатель и ей, будем считать, некогда. А этого приучу, никуда не денется, мастер-пепкин.

Другим вечером посидели с Запольским, поговорили по душам.

— Ты пойми, Лев, — нетрезво убеждал его Иван Петрович, — я просто хочу, чтоб зять был достоин моей единственной дочери. Пускай и не равен по части интеллекта, но хотя бы минимально начитан. Мама у тебя такая, понимаешь, грамотная. Учительница и все остальное. В словесности понимает, верные советы дает. А ты, черт тебя имел, шастаешь с ночи до утра по пистоям этим недоделанным вместо того, чтоб остановиться, оглянуться, засечь мгновенье.

— Какое мгновенье, Иван Петрович? — слабо вникая в тестевы речи, для порядка поинтересовался Лёвушка, засовывая в рот вечерний пельмень.

— То самое, которое от зловонной пеленки и до смердящего савана, — не растерявшись, пояснил свою мысль Цареградский. И добавил: — Тебе ж отцом скоро, а все в нехристях ходишь.

В этой фразе было все, но это Лёвка понял лишь потом, по прошествии полугода, когда усилием воли взялся таки за несчастную книжку, по-прежнему давившую на совесть маминими наставлениями и тестевым авторитетом. Выходило, что нехристь есть не только человек инородного духа и такой же чуждой нормальным людям плоти, но еще и малообразованный кретин, какого допустили к столу, закрыв глаза на нецарское происхождение. А он, глупец, того не ценит и не понимает.

В общем, созрел. Нашел время и открыл. Перед сном, пока Нютка ковырялась у себя в кабинете с сочинительством.

И пропал.

Совсем пропал, насмерть, до концевое упора в теле. И чем дальше Лёвка читал, тем сильнее сжималась в кишках проклятая пружина. Еще минута, казалось ему... да что минута — секунда-другая и все внутри взорвется, выстрелит и закружит, взвоется с неведомой ему ранее силой. Буквы, слова эти, разговоры за людей и против скотов... все они будто летали перед глазами, сплетаясь в умные разноцветные кружева, и тут же расплетались обратно, становясь еще более прихотливой смысловой вязью... но снова они же самые обращались в волнующую ум историю, выставлявшую на его же, Лёвкиных, глазах.

Последний раз он читал в школе — что-то там про Анну Каренину, которую им задали на лето, но не очень потом спросили. Он лишь запомнил, что Анна эта удавилась на колесах, а муж простил, но так и не откачал. Было и другое, такое же ненавистное, значившееся по разряду Пушкин-Лермонтов-Некрасов и, вроде еще, Достоевский с наказанием за старушку по голове топором. Про топор — единственно не забылось, потому что помнил, как ржали всем классом в момент, когда смурной Родион этот вдарил обухом по процентщицкому лбу, и по сестре ее заодно, только острым концом. Еще осталось в памяти, как та, еще не порубленная, смешно говорила про время, глядя на часы: «В семо-о-ом, в семо-о-ом часу-то...». А так — больше ничего: остальное незаметно схлопнулось, сгорело в проклятой суете. К тому же надо было успевать по основному делу, пока другие ловкачи не выгребли из нужных мест предметы старинного быта. Там много чего было, он знал, — начиная с бывшего Алтайского горного округа, считай, до середины XIX века: и от ссыльных политических, и от прямых декабристов, положивших начало тамошней ветке интеллигенции. Кой-чего досталось и по линии поляков, участников восстания, и народников, организаторов марксистских кружков. К слову, и книги первосортные попадались, что стоят немерено, и разные семейные изделия: по большей части от декабристских опять же прапрадедов и таких же, как сами, недобитых продолжателей старых времен.

Сам он первые свои серьезные деньги сделал на сабле, что высмотрел у дальней родни, левым боком причастной к наследию Муравьевых-Апостолов. Те сказали, мол, французская офицерская сабля адмирала лорда Нельсона. Он поверил и взял, прилично

встала. А только оказалась не Нельсона, а офицера той же эпохи, подаренная кому-то из адмиралова круга. Правда, выждав нужное время, Лёвка все равно на ней поднялся, причем в рекордно короткий срок, выгадав по деньгам раз в десять, если не в сто. Дальше он был осмотрительней, но все уже катилось само. С его липким умом и острым глазным прицелом остальное получалось не хуже этого. Оттого, набравшись наглости и прочесав родные поляны аж до глиняного слоя, Лёвка и нагрязнел в Москву. И сразу в лапы к Цареградским.

Но господи, как же было писано! Клок волос, свисающий на потный лоб главного героя в то время как тот, несясь в преисподнюю, хладнокровно прикидывает, как ему верней разделаться с соперником. Иллюзия и реальность, сволочи и праведники, преданность и хладнокровный толчок в пропасть, где курок спускает один, но рукою направляет другой...

То было потрясение, не меньше. Он, Лев Запольский, пускай и не талант, как жена Нюта, и не такой неисправимый зануда и говнюк, как собственный тесть, оказывается, всего лишь был не в курсе, что так бывает. Когда на твоих глазах растут и зреют необычные миры. Когда жжет в селезенке, но тебе до лампочки — пускай царапает и жжет, потому понятно, ради чего. И как же случилось, что он, Запольский, просрал весь тот мир, от которого кружится голова, сводит ладони и звереют мышцы рук? Зачем?

Когда закончил читать, выдохнул, но к Нюте не пошел. Хотелось поделиться, однако не решился отвлекать умную жену новостью про себя же, мудака. Ждал, когда напряжение последних месяцев, в которых пребывала его одаренная Нюта, спадет.

Между тем, автор романа «Ложь и свет в конце тоннеля» Анна Запольская-Цареградская получила ответы из мест, куда закинула рукопись. Практически одновременно. Текст брали двое из пяти, остальные не отреагировали. Первые написали с откровенным восторгом, вторые — с вежливым придыханием. И оба — с предложением издать роман в кратчайшие сроки. Кроме того, насколько она поняла, речь шла о длительном сотрудничестве с новым талантливым автором. То есть с ней. Были, правда, мелочи, о которых упоминалось вскользь и словно под копирку. Типа того, что «...конечно же, требуется определенная доработка вашего романа не только в смысле редактирования, но и с целью частичного пересмотра объема текста. Впрочем, редакция с удовольствием осуществит эту работу собственными силами, не привлекая автора к технической, по сути, части издательского процесса...»

Это была победа. Полная. Ясно, что в невозвратную сторону.

С этой минуты начиналась вторая жизнь Анны Запольской-Цареградской — сразу со славы. Дав согласие первым, кто признал, забыла поинтересоваться, сколько заплатят. Было неважно. Волновало другое, более значимое — отчего ушло столько лет на разгон? Почему она, умная, талантливая и эффектная, но сама же швырнувшая свой дар в топку с навозными брикетами, выкарабкивается на свет лишь теперь? И какого черта муж Лёвушка, оружейный собиратель из барнаульской глухомани, взял ее так быстро, к тому же за просто так? Про отца она не подумала вовсе. Тот, бессрочно полупьяный, сам же когда-то втянувший ее в писательство, так и не удосужился убыстрить вхождение дочери в круг именитых лиц. Все пришлось делать самой. И она сделала это, слышите?

В тот день радость была так велика, что хотелось искать и находить вину в других. Ей полновесных тридцать, а она лишь начинает. Горе от ума и больше никак.

И все же Нюта лукавила. Лёвку она не то что бы любила по-честному, как следует любить мужа правильной жене, но и терпеть его не приходилось. И вообще, муж Лёвушка был славный и податливый, будто сделанный из детского пластилина, что и к рукам не липнет, и следов на одежде не оставляет. А лучше б оставлял, зараза. Так она мягко шутила, про себя. Тем не менее Лёвка по-прежнему был добытчик и содержатель всего их цареградского причала, она же только готовилась к деньгам и

славе в упряжке с Карловым, Ахметом и остальными героями знойного романа. Готовилась и знала — фишка легла на красное, обойдя проклятое черное. И так будет всегда.

Вскоре последовали предложения финансового характера. Вторые, обойдя первых, давали аванс в пять тысяч долларов плюс роялти 12%. Первые — заявили скромные четыре и десять потиражных. Она подумала и ушла от первых к вторым, о чем сообщила первым. Те, впрочем, тут же отозвались и ощутимо перебили вторых. Вторые задумались и дали новые условия. Чуть лучше, зато на белой бумаге. Нюта, узнав, удивилась. В каком смысле, на белой? А на какой еще?

Кончилось тем, что первые, согласились на то же, но вздули первый тираж. Это решило дело. Она заключила договор и в тот же день расписалась за аванс. Честно говоря, сумма, которую ей выдали в кассе, жутко жгла руки. Это были первые в жизни деньги не за хрень в тоске и неволе, а за голову и за талант. И сразу огромные. Настолько, что не верилось в их настоящесть. Никогда у Цареградских не было таких деньжищ. Было другое — привычно сытая жизнь, цековские дачи меж ухоженных сосен, жратва с Грановского, полированный олень на Волге, просторное жилье за так, обеды с писательской фабрики-кухни с подливой в отдельном судке. Ну и разное прочее, не требовавшее душевных затрат и не причинявшее телесных неудобств. Карина Степановна, мать, — та, сколько помнила себя Нюта, никогда не проходила ни по одному трудовому ведомству, будучи супругой в законе. И потому им всегда хватало. А потом хватать перестало, после смены одной беды на другую. Во всяком случае, пока у них был Лёвка, можно было спать спокойно, куда бы ни завел семью ее литературный интерес. А пока... Сунув пачку купюр в сумку и ответно поулыбавшись, Нюта вышла на воздух.

Вновь был сентябрь. И коли случался он сухим и безветренным, как в этот раз, то частенько вызывал в душе у Нюты приступ обостренной радости, простой и бесхитростной, — той самой, которую, наверно, придумал человек, чтобы одним махом отделить себя от всего остального и, взяв паузу, откинуться на спину, прикрыть глаза и не ощущать больше ничего, кроме прилива теплой волны посреди утомленной души, что хоронится в таинственной промежутке между животом и головой.

Это был приступ. Раньше она такого за собой не помнила — чтобы щемило так, во всех главных местах и разом. Она задрала глаза в небо, сделала пару глубоких вдохов и, сверившись с небесным компасом, потопала в центр. Просто так, ни за чем. Хотелось жить красиво, и чтобы узнавали. А еще мечталось швырнуть деньги, лучше кому-нибудь в лицо. Чтоб тоже знали...

Швырнуть не довелось — просто потратила. Отдала в кассу антикварного магазина на Старом Арбате — все до последней купюры, какие были на кармане. Осталось лишь на такси до Большой Никитской. Она знала — ее вины в том нет, совсем. Просто зашла и уперлась глазами в него. Он лежал под витринным стеклом, и на сияющих бочках его играли блики искусственного света. Но это не делало его некрасивым. Наоборот, Нюте казалось, что этот синеватый отблеск в сочетании с начищенной до глянца бронзовым затыльником в конце рукоятки, этот холодный ствол, нацеленный ей прямо в живот, все эти колдовские крючочки, замки, полки и винтики, отлаженные для меткого выстрела в цель, плюс тончайшая резьба по дереву — все это стоит денег. Прав Лёвка — дело выгодное и красивое, хоть и затратное.

Он и на самом деле был хорош, хотя оказался не из самых дорогих. Так сказал продавец. И пояснил — одна тысяча восьмисотый год, французская кавалерия. Пистоль, офицерский. Последний остался, редкий экземпляр. Чистое произведение искусства.

Она повертела его в руках и купила. Тем самым этот по-идиотски счастливый день продолжался. К тому же еще, с час назад издательская редакторша, загадочно улыбаясь, дала понять, что это лишь начало. Что женский роман ее типа пользуется

высочайшим спросом у населения и что коли вторая книжка станет не хуже, то они запустят отдельную серию, специально под нее. После чего, в зависимости от продаж, чувствительно поднимут ставку. В перспективе же — отдельная полка в главных торговых точках книжной продажи. И если надо, будут бегать ей за кефиром, только чтоб новый автор не дал сбоя. Вот так!

Оружейный прибор от кавалерии, о котором мечтал Лёвушка, она ему не показала. Прибрала в дальний угол, до времени. Страшно хотелось совместить подарок с сюрпризом. И то дело — пистоль и роман в одной писательской упаковке. Там — история и искусство, тут — литература. Оба — высочайшей пробы. Тот и этот — заработаны честным ломовым трудом. Один и другой — ласточки в счастливой для нее осени, после которой не страшна никакая зима.

Слышишь, Лёва? И ты тоже проснись, отец.

Лёва не слышал, он читал. Теперь он читал много и запоем. Компенсировал дурацкий юношеский простой по части прекрасного. И чем больше поглощал всякого, тем было ему интересней, благо библиотека у Цареградских имелась правильная и объемная. Тесть, узнав про такое, одобрил. И даже стал советовать, чтобы Лёвка больше не сшибся с нужного пути. Надо сказать, в этом Иван Петрович разбирался лучше, чем в производстве культурного продукта своими руками. Во всяком случае, ни разу не посоветовал глупого или пошлого. Сразу сказал — начни с Гоголя, сынок. Нет лучше Гоголя, поверь. Пять раз сдохнешь, пока читать будешь. Вот давай на спор: коли «Мёртвые души» в душе твоей не оживут, не зарадуют до усрачки, не вывернут кишки наружу, то с меня пузырь.

Он прочел, конечно. Так прочел, что вырвать из новой звездопляски удалось лишь купцу, бравшему за двойную цену вполне добротную «мать»-семнашку с надежным провенансом. При ней, как Лёва и обещал, все дела — ковчевая, по левкасу, школьная, северного письма по типу ярославской, но не совсем: скорее, ближе туда, к Угличу. Плюс на добивку кой-чего из холодной антикварки — скажем, сабля фузилерная, второй половины девятнадцатого века, Германия. Клинок чуть изогнут, с одним долом, по периметру — травление. Боевой конец двухлезвийный, гарда латунная, с одной защитной дужкой, перекрестьем, загнутым вниз по направлению к обуху клинка, и двумя щитками: на одном — клеймо. Рукоять — под кожей ската, по желобкам перевита латунной проволокой. Спинка и навершие рукояти латунные, с расширением по центру. Ножны деревянные, обтянуты черной кожей, с латунным прибором и стреловидным шпеньком.

Он отдал и прилично нажил, как раз между «душами» и следующим по очереди Акакий Акакичем.

Чуть погода пошла и другие, тоже умопомрачительные. Да хоть и Анна Каренина, им же реанимированная, уже к середине романа довела его, сука, до счастья познания мира с вообще нежданного ракурса. Впервые Лёвка плакал. Не от боли и не от чужой смерти. От чертовых букв. И так — всё, вообще всё... Иными словами, писатель — тот же, он — другой, Лёва. В любом случае мир, как выяснилось, который он успел для своих лет неплохо почувствовать и понять, состоял не из одних оружейных шедевров, а еще из незнакомых ранее бонусов — чуда слов и радости книг. «Какая же ты счастливая, Нютка... — думал он, время от времени заглядывая в кабинет строчащей роман жены. — Надо б чего-нибудь ей приготовить на первую книжку, из несложной антикварки.

Он подумал и придумал. Добив Сэлинджера и немного остыв, выискал нужное. Ожерелье. Эпоха — ранний романтизм, идеально круглые, голубоватого с розовым оттенка жемчужины, нанизанные на нить, перемежаемые славными резными косточками. В центре — покрупней и чуть продолговатая. Слов нет, безукоризненный презент для Нютки. Тем более для писательницы.

Как было обещано, десять авторских экземпляров издательский курьер доставил

в квартиру Цареградских в срок. Зашел, оставил пакет, попросил попить и отбыл. Нюта растерзала крафтовую упаковку, взяла в руки пахнувший типографским свинцом том и ахнула. Он был прекрасен. Снизу доверху корешок первой книги был облит золотом, почти натуральным. По золоту шли буквы, составляющие ее, Нютино, имя: «Анна Запольская-Цареградская». Лицевая обложка представляла собой затейливый коллаж, в котором нашлось место всему. Главным был нож, с лезвия которого к розовой земле тянулась густая кровавая капля. Вдали синел океан. И не просто океан, а как бы увиденный через пальму и круглые очки Карлова. Она-то знала, что это он, убиенный Ахметом доктор, но читателю лишь предстояло это изведать. Плюс небритый труп в ногах неизвестного убийцы. Сам убийца стоял лицом к океану — спиной к покупателю, с пистолем за поясом. Кто был таков, не сумела угадать сама Нюта. Впрочем, было неважно, ее не обманули. Роскошная книжка, которую она держала в руках, пахла тем самым, что Нюта учуяла когда-то, впервые раскрыв повесть за тесемками. И вновь отовсюду, из каждой щели теперь уже ее романа пахло теплой французской булкой, било пахучим кофе с далеких бразильянских плантаций, оттуда же призывно несло загадочным Соммерсетом Моэмом, мягко ароматило Грэмом Грином, и в отдельные моменты наружу пробивался даже месье Жорж Санд. Это уже не говоря о пряном духе капитана Блада, которым дочь писателя Цареградского зачитывалась с раннего детства. Все было похоже, но несравненно лучше написано. И выглядело дороже.

Ближе к вечеру вернулся супруг. Сели ужинать.

— Все, Лев, — сообщила она мужу, жуя антрекот, — можешь читать.

— Угу, — с радостью в голосе отозвался тот и подумал, что самое время гуталинить презент.

Поев, двинулся в спальню. Там его ждал Карлов, Ахмет и остальные. На постели, в виде тома с золотым корешком.

— Буду читать всю ночь, — пообещал Лёвушка, когда жена, осторожно скрипнув дверью, застала его лежащим с «Ложью и светом» в руках.

— Тогда встречаемся утром? — игриво справилась Нюта и деликатно прикрыла за собой дверь в супружескую спальню.

Он заснул лишь к утру, до этих пор читал. Проснувшись, первым делом сунул нос в женин кабинет. Нюта была там.

— Ну как тебе? — спросила она, не обернувшись. Лишь дрогнула спиной.

— Как тебе сказать... — издали начал Лёва. — Понимаешь, честно говоря, я думал, ты унырнешь в какую-никакую литературу, вроде той или этой, неважно. Но ты, я смотрю, решила писать иначе, типа «ваших двое — наших нет». Я прав, Нют?

Она развернулась и уставилась на мужа.

— Ты серьезно? Или шутишь так?

Лёва подошел, обнял за плечи, прижался губами к ее волосам.

— Пойми, родная: то, чего ты насочиняла, это же какая-то картонная блевотина. Целлулоид. Ничего пошлей быть не может, поверь. Я понимаю, конечно, они там тебе всякого наобещали, скорей всего сказали, гениально, давай, мол, еще, да поскорей. Верно? — Нюта молчала, слушала. Разве что слегка защемила зубами язык. — Видишь ли... — он старался подбирать слова так, чтобы рана, которую он и так уже успел нанести, по возможности не рвалась краями, — вся эта кровавая баня при содействии лжецов, подлецов и идиотов, разбавленных для пушей красоты бутафорскими девками, рассчитана на таких же, как сами они, придурков. Ты извини, Нют, но я твой муж, а ты мне жена, я просто не хочу юлить и выворачивать язык, чтобы нести херню про прекрасное. Ты ни разу не писатель, пойми. При том, наверно, что одни станут продавать тебя, а другие покупать. И скорее всего, нормально платить. Потом ты непременно решишь, что прихватила бога за яйца, и продолжишь эту свою херомантию. Особенно, если дальше покатит. Но только оно тебе надо? Нам с тобой — надо?

Сказал и опустился на корточки возле нее. И замолчал.

— Я тебе подарок приготовила... — едва слышно отозвалась Нюта, — Показать?

— А то! — бодро встрепенулся Лёва. — Подарок мужу — это всегда замечательно. Тем более что у меня для тебя кой-чего имеется. Тоже показать? — и улыбнулся.

— Сможешь зарядить? — она вытянула ящик письменного стола и вытащила из него французский пистоль. — Офицерский, кремнёвый. Сказали, кавалерийский. — Протянула мужу. — Тебе...

Левка взял, покрутил так и сяк, положил на стол. Хмыкнул.

— Забавная штукавина. Фирма Беникс делает, они вообще специализируются на подделках. Неплохо, кстати, получается. Собиратель не оглянется, дурак не пройдет. Где откопала?

— Зарядить можно? Или тоже не по-настоящему?

— Это не-е-ет... — успокоительно протянул он, — это можно, это без вопросов.

— И что, будет стрелять? — удивленно спросила она. — Даже подделка?

— Еще как! — подтвердил догадку жены оружейный муж. — Кстати, у меня все для этого имеется, полный комплект. Хочешь глянуть?

— Хочу, — кивнула она, — покажи.

Она внимательно смотрела, как ее Лёвушка засыпал порох. И как потом, заткнув порох пыжом, засовывал в дуло небольшую штукавину, напоминающую старинную пулю круглой формы. Как взводил курок, предварительно убедившись в надежности искры от кремнёвого запала. И как потом он, муж ее Лев Запольский, бессловесно валился на живот после того, как она, держа пистоль в правой руке, поднесла его к Лёвкиному сердцу и легким движением пальца потянула на себя изящный крючок с тиснением темного серебра по всей наружной поверхности.

Она так и не поняла, вышло это невзначай или, быть может, то была случайная кремниевая искра, вызвавшая жаркое пламя от разом вспыхнувшего пороха. То ли это сделал сам он, верный кормилец и оружейный чародей, ее бесценный Лёвушка, осознав неправоту своих глупых слов. Нюта ни в чем не была уверена. Она молча смотрела на мужнин труп, думая о том, что, возможно, эти глуповатые Лёвкины замечания она учтет как-нибудь потом, когда все закончится и у нее появится шанс все исправить. А, может, не учтет. И тогда править не придется ни то, ни это.

На звук выстрела подтянулся отец. Культурный человек, Иван Петрович предварительно дважды стукнул в дверь, после чего всунул нос и вежливо поинтересовался. Потому что не успел еще принять.

— Чего шумим, молодежь?

— Лёва застрелился, — не обернув головы, апатично отреагировала дочь его Нюта, — разбирал говно свое и невзначай пулю выпустил, в себя.

— А-а-а... — хмыкнул Цареградский, — тогда ладно. — После чего он разочарованно махнул рукой и прикрыл за собой дверь.

Крови было мало. Пуля, частично вонзившись в миокард, закупорила выход жидкости в полость излияния. Однако этого хватило, чтобы убить Льва Запольского — мужа начинающей писательницы, а заодно знатока и собирателя разных интересных штукавин. Кавалерийских пистолей, в том числе.